

Новая Польша 3/2003

0: О РОССИИ

— Профессор Юлиуш Бардах назвал национальное сознание граждан Великого Княжества Литовского многоступенчатым. Литовская шляхта больше, чем “коронная” [т.е. собственно польская], была подвержена непосредственным контактам с Россией, вследствие чего ее характеризовала повышенная недоверчивость. А какое отношение к России было в вашей семье?

— Моя семья жила в Великом Княжестве Литовском на протяжении многих поколений. В семье говорили по-польски. Мой отец закончил русскую гимназию в Вильно, где не разрешалось говорить по-польски, по этой же причине он очень хорошо знал русскую литературу. В Рижском политехническом он изучал инженерное дело и свою первую должность получил в Красноярске. Во время I Мировой войны был мобилизован в царскую армию сапером. Мы с матерью ездили за ним повсюду, где он строил мосты. С самых ранних лет я говорил по-русски, не отдавая себе отчета в том, что перехожу с одного языка на другой. Революцию я пережил в возрасте шести лет в Ржеве на Волге. От тех лет осталось у меня знание языка и память сценок, подробностей. У нас в доме в Вильно нередко в шуточных целях переходили на русский язык. Чаще всего мой отец с друзьями зачитывал фрагменты из литературы, например описание ссоры двух сановников из Щедрина: “И ругались так ужасно, что восторженные босяки ежеминутно кричали ура!”

Если говорить о польско-российских отношениях на территории Великого Княжества Литовского, то существовало строгое разделение. Светских отношений, за небольшими исключениями, почти не было. Со времени раздела, то есть вступления российских войск на территорию Великого Княжества Литовского, к русским относились с большой сдержанностью — как к захватчикам.

— Вы написали в “Родимой Европе”: “Поразительно, как много из ауры какой-то страны может проникнуть в ребенка”. Для вас такой страной была Россия?

— Да, до сих пор сцены из России — времен I Мировой войны и революции — весьма живы во мне.

— Дмитрий Мережковский сказал одному из ваших друзей, что “Россия очень женственна, но у нее никогда не было мужа. Ее насиловали татары, цари, большевики. Единственным мужем для России могла бы быть Польша. Но Польша была слишком слабой”.

— Если позволите, я приведу другой пример, из собственной родословной. Мой дед Дмитрий, женившись на бабке, вошел в круг типично краковской семьи, а следует помнить, что Краков был городом, о котором писал молодой Жеромский: “Ругать Россию значит тут обрести величие и патент на звание гражданина”. Мой дед, обладавший типично российским имперским образом мыслей, был словно разъяренный бульдог в стае кусающихся пуделей.

— Не считаете ли вы, что трагедией связи России с Польшей всегда была их слишком далеко зашедшая близость, тогда как связь эта должна была быть формальным контрактом о сожительстве, открытым для участия третьих лиц.

— Мне кажется, то, что сказал Мережковский, мы должны рассматривать скорее как шутку. В польско-российских конфликтах огромную роль сыграл факт разделения на православие и католичество. В конечном счете граница этого разделения проходила на востоке бывшей Речи Посполитой. Когда в Смутное время польские войска вошли в Москву, была речь о том, что польский королевич мог бы стать царем, но с условием принять православие, на что польский король не желал согласиться.

Контраст между православием и католичеством сыграл важную роль в истории. А что касается формальной связи, о которой вы говорите, — не очень-то могу себе это представить. После Венского конгресса российский император стал царем польским. В Польше господствовал парламентский строй, что было парадоксом, и, как нам известно, он не выдержал испытания временем.

— В московском ежемесячнике “Наш современник” появилась статья его главного редактора Станислава Куняева “Шляхта и мы”, цель которой — представить российскому общественному мнению все польские преступления, совершенные против русского народа. Это самая обширная публикация, касающаяся

польско-российских отношений, из тех, что появились после 1991 года. Здесь шовинизм доведен до предела помешательства, что вовсе не означает, будто поляки должны ее трактовать исключительно в категориях клинического случая.

Вы часто пишете об эмоциях, какими взаимно одаряют друг друга поляки и русские — чувстве презрения, отвращения, вплоть до ненависти. Не представляет ли эта публикация наилучшее доказательство того, что от обыкновенного невежества до презрения путь безумно короток, а тогда можно уже внушать всякую чепуху?

— Это вопрос исторических знаний, весьма сомнительных в среде молодых поколений; знаний, которые как можно объективней освещали бы историю отдельных стран и их взаимоотношений. Ближайший пример — польско-украинские отношения, полные взаимных убийств и преступлений. Если мы хотим жить в согласии друг с другом, молодое поколение должно иметь объективную картину, свободную от националистической точки зрения. А что до статьи Куняева... Есть один непреложный факт: Россия была больше, а Польша — меньше. Если говорят, что все преступления совершил кролик, то нужно относиться к этому скептически... Есть такой анекдот на варшавском диалекте о том, как собака набросилась на кролика. В возникшем скандале обвинили хозяина собаки, который ответил: “Кролик первый начал!”

Самое важное — объективизм, в нынешние времена тесно связанный с чувством ответственности. Каждое обвинение, брошенное в адрес другой страны, немедленно порождает опасные реакции; глупые люди это подхватывают, используя палку вместо аргумента.

— Учебники истории для российских школьников оставляют желать лучшего.

— Представляю себе. Мне известна российская тенденция к весьма пристрастному освещению истории, что имеет свои давние корни, протянувшиеся и в период коммунизма. Поэтому, хотя учебников я не знаю, допускаю, что это возможно.

— Вы упрекаете польскую литературу в том, что она последовательно обходит стороной проблему зла, так крепко укоренившуюся в русской литературе. Не удивительно ли это? Столь крайние подходы к проблеме в литературах двух соседствующих народов?

— Я занимался этим вопросом. Читая лекции о Достоевском, я искал причины этой увлеченности русской литературы злом. Я видел определенные связи, очень старые, времен начала православия, с ересями — например, с болгарской ересью богомилов или манихеев, которые считали мир, материю воплощением зла.

Предполагаю, что это могло каким-то образом просочиться в раннее православие. Увлеченность злом — великая сила русской литературы, она допускала реалистическое описание, а не приукрашивание действительности.

В Польше было иначе, и я усматриваю здесь огромное влияние католичества. Не будем забывать, что два самых больших христианских праздника — Рождество и Пасха — имеют иное значение в каждой стране. В Польше самый большой праздник — Рождество — рождение Младенца, невинного Младенца, который спасет мир. В России самый важный праздник — Пасха, или воскресение Человека, который встает из гроба и возвращается к другой жизни. Это ключ к совершенно иному подходу и пониманию мира. Польскую литературу отличает некоторая детскость, она пытается доказать, что мир в принципе добр...

— Станислав Цат-Мацкевич, не переносивший Россию — как царскую, так и советскую, — в то же время обожал русскую литературу, утверждая, что она самая значительная в мире. Многие поляки разделяют этот взгляд. Не является ли причиной этого восхищения именно проблема зла, которой нет в польской литературе?

— Думаю, что причины различны. Прежде всего, Россия создала в XIX веке великий роман. XIX век был веком романа во всей Европе, но России удалось создать великий роман, чего в Польше не было. Наша литература — это прежде всего поэзия, драма, затем мемуары, дневники, эссе. Наверняка это сыграло решающую роль в отношении поляков к русской литературе. Мацкевич в своих оценках прав. Я должен здесь при случае похвалиться тем, что лично пережил знакомство с русской литературой, читая в Америке лекции о Достоевском. Из русских писателей я преподавал лишь его, потому что, говоря откровенно, только Достоевский интересовал меня.

— Зная отношение Достоевского к польскому народу, как вы объясните столь большой интерес к нему? Любовь Марека Хласко к автору “Бесов” стала уже легендарной. Самые выдающиеся театральные

постановки Анджея Вайды или Кристиана Лупы — это инсценировки произведений Достоевского.

— Чувства поляков довольно амбивалентны, хотя бы по отношению к русскому языку. В сущности поляки любят этот язык. Я сам чрезвычайно восприимчив к русскому языку. В США я чувствовал себя странно, если не сказать забавно, как поляк и католик, преподающий Достоевского по-английски и толкующий все эти сложности, его антипольское почти что умопомешательство. Достаточно почитать “Братьев Карамазовых”.

Достоевский отбывал каторгу в Омске, и его товарищами были поляки, сосланные за участие в некоем христианско-коммунистическом заговоре 1840-х годов. У нас есть свидетельства и Достоевского, и этих поляков. Они удивлялись тому, что русский революционер может быть таким империалистом. Он относился к ним с известной симпатией, так как это были интеллигенты, с которыми он мог разговаривать по-французски. Остальные узники представляли простое крестьянство, настоящих бандитов. Обращение Достоевского в национализм произошло как раз после этих бесед с поляками. Простые крестьяне, которые убивали топором, говорили: мы виновны, мы страдаем справедливо. А поляки считали себя невиновными, они были политическими преступниками и не признавали власти царя. Эта их невиновность приводила Достоевского в ярость. Это очень интересная история — столкновение столь крайних позиций.

— Поляки чувствовали себя мучениками, страдающими за свое дело?

— Да, мучениками, страдающими за свое дело.

— А Достоевский тоже считал себя мучеником, страдающим за свое дело?

— Пожалуй, нет... он считал это своего рода случайностью, ошибкой.

— Как реагировали на Достоевского американские студенты? Были они в состоянии понять смысл его мыслей?

— Все зависит от того, как излагать. Я не применял психологического или психоаналитического метода. Прежде всего я старался учить их истории России через Достоевского. Возьмем “Бесов” — там содержится вся история идей, волновавших русскую интеллигенцию в течение всего XIX века: фигуры Верховенского-старшего и Ставрогина; есть также отношение России к Польше. Ставрогин за какие-то преступления был в армии разжалован, а потом участвовал в подавлении польского восстания 1863 г. и за героическое поведение, за “усмирение польского мятежа”, вновь был произведен в офицеры.

— Огромное впечатление на меня произвело описание в “Родимой Европе” сцены, очевидцем которой вы были. Январь 1945 года, немецкий военнопленный — западный человек среди русских солдат, как вы пишете, “законных преемников тех самых даров, из которых черпали Достоевский и Толстой”. Один из них стаскивает с лавки сонного пленного, чтобы выйти вместе с ним и спустя несколько минут вернуться, волоча за собой белый немецкий полушубок. В этой сцене поражает невероятное спокойствие, можно сказать, невинность палача: “Ничего непоследовательного не произойдет, если он тут же донесет на себя или убьет приятеля”, — потому что не он плох, а мир, в котором ему довелось жить. Не так ли выглядит зло по-русски?

— До сих пор у меня перед глазами лицо этого молодого немца, и я помню доброжелательность, с какой к нему относились, зная, что сейчас его убьют. Это было на линии фронта — не знали, что с ним делать. Убийство пленных происходило и на Западе, но я бы сказал, что там не было сочувствия. Там должны были сперва накачаться гневом или ненавистью. Здесь же была уверенность, что плох мир, а значит, ответственность не наша.

— Знаменитая цитата из “Братьев Карамазовых”: “На земле есть страдание, но виноватых нет”.

— Вот именно.

— Вы пишете: “Моими любимцами были гностики, манихеи и альбигойцы — они, по крайней мере, не прикрывались общими фразами о воле Божией, чтобы оправдать жестокость”. Был ли ваш интерес к гностицизму категорическим протестом против страдания без виноватых?

— Это принципиальная проблема, с которой тщетно борется католичество. Оно силится что-то сделать с этим, постоянно ссылаясь на Библию, ибо Господь Бог создал мир, животных и человека как нечто благое. Католичество постоянно ссылается на благость Бога, но проблемой зла и страдания в том столетии, которое я пережил, нельзя так просто пренебречь.

— Эва Беньковская в своей новой книге “Писатель и судьба”, посвященной Густаву Херлингу-Грудзинскому, замечает известное сходство в его и вашем интересе к гностицизму, подчеркивая, однако, что у вас это происходит на более сложном уровне.

— Возможно. Я не говорю, что я гностик. Я лишь борюсь с этой проблемой, которая, вероятно, не имеет решения. Должен здесь отметить, что я большой приверженец Льва Шестова, философа, который пришелся по вкусу как мне, так и Иосифу Бродскому — это нас очень сблизило. Шестов занимается проблемой зла.

— С Иосифом Бродским вы подружились в Америке. Вы были коллегами по Нобелевской премии. В “Годе охотника” вы упоминаете о его высокомерии. В чем оно проявлялось?

— Это была его личная черта. Я этого не чувствовал, он был моим верным другом, но другим доставалось. Быть может, это было отношение русского к иностранцам. Бродский был глубоким русским патриотом, но и немного империалистом.

— В 1988 г. в Лиссабоне состоялась встреча писателей Центральной Европы с русскими писателями — советскими и эмигрантами. Для Бродского термин “Центральная Европа” был довольно непонятным.

— Прежде всего он был непонятным для советской делегации, а Бродский тогда сказал: “Какая Центральная Европа?! Западная Азия!”

— Вы переводили стихи Бродского, Бродский переводил ваши произведения. Доходило ли между вами до конфликтов в этой плоскости?

— Никаких конфликтов. Бродский перевел намного больше моих произведений, чем я его. Признаюсь, что русскую метрику я всегда воспринимал как опасную для себя. Русский язык — язык с сильным ударением, сильным ямбическим метром. Нельзя переводить русское стихотворение на польский, сохраняя этот сильный ямбический метр, так как получается это искусственно. У меня чуткое к русскому языку ухо, поэтому перевод поэзии был для меня заразителен. Польское стихосложение основано на совсем иных принципах. Это два, казалось бы, родственных языка, а системы стихосложения совершенно различны. Проблема перевода заключается прежде всего в ритмической структуре русского языка.

— “Глубина” русской литературы всегда казалась вам подозрительной. “Что с глубиной, если она достается слишком дорогой ценой?”

— Я понимаю вашу обеспокоенность судьбой личности. Прекрасно писал об этом Лешек Колаковский в своем эссе, посвященном “Богословскому трактату”. Однако что мы имеем взамен? Последовательную реализацию концепции Хаксли.

Бердяев, анализируя образ Ивана Карамазова, сказал: “ложная чувствительность”. Карамазов возвращает билет из-за единственной слезы ребенка, но позволяет себе лгать в других делах. Полагаю, что в этом большая опасность для России и русской литературы. Плачут над человеком, но готовы к жестоким действиям по отношению к другим народам, одновременно приукрашая это, представляя как благородное, доброе. В этой “глубине” таится опасность “ложной чувствительности”. Мы много говорили о русской литературе с Иосифом Бродским; он известной ее черты не любил — мечтаний о хорошем обществе, толстовства родом из Руссо.

— Я считаю, что о России вы пишете необычайно волнующе, с пониманием, какое редко встретишь у польских писателей. Но в то же время чувствую известную недосказанность, потому что вы никогда не ставите окончательный диагноз. У меня создается впечатление, хотя бы по “Родимой Европе”, что вы воплощаетесь в Давида, который, однако, не победил Голиафа. Отсюда заключительная заметка главы, состоящая из цитат маркиза де Кюстина, словно вы пытаетесь скрыться за его как-никак радикальными оценками.

— Да, это правда. Я неохотно высказывался откровенно, исповедуясь во всех моих опасениях и ушибах. Существует нечто вроде ответственности писателя. Нетрудно играть на антирусских чувствах поляков. По этой же причине, например, я не слишком ценю труд Кухажевского “От белого царизма до красного”, где тезисы, принципиально недружественные России, проводятся чересчур логично, слишком легко.

— С 1991 года я стала крепко верить в Россию, хотя, черт возьми, понять не могла, почему в отделениях милиции все еще висят портреты Дзержинского. Теперь, после трагедии на Дубровке, я поняла, что должна учиться России сызнова.

Богдан Цивинский на страницах газеты “Жечпосполита” написал, что в течение двух ближайших поколений Россия не научится демократии, но в культурном плане в любое время может вновь, как и прежде, явить миру могущество духа. А что вы скажете?

— Я следил за русской мыслью, читая не только художественную литературу, но и Соловьева, Бердяева, Шестова, и вижу там огромный потенциал, который должен взорваться, раньше или позже заявить о себе. К сожалению, постоянным тормозом остается любовь ко всему русскому, выдвижение его на первое место, выше истины. Эти две силы будут бороться друг с другом — глубина русской души и ее скованность самолюбованием.

— А разве Россия не борется сегодня с такими же проблемами, что и Польша? Системная трансформация — это гигантский хаос. Творческая мысль требует стабилизации. XIX век был веком царского режима, но гарантировал ощущение устойчивости.

— Я думаю, что причины более глубоки, чем чисто политические. Хаос современного мира — это огромный духовный кризис во всем, засилье массовой культуры, производимой в Голливуде. Мы являемся сегодня свидетелями событий, в глубоких последствиях которых еще не отдаем себе отчета. Быть может, такие парадоксальные и жуткие произведения, как “Москва — Петушки”, дают нам один из способов подхода к современному миру.

Специально для «Новой Польши» беседу вела Сильвия Фролов

1: ПОЛЬСКИЙ ГОНОР И РУССКАЯ ДУША

Поляков и русских разделяет все, а объединяет только географическое положение и жизнь по соседству. Из этого, однако, отнюдь не следует, что диалог между ними невозможен. Но при этом мы должны принимать друг друга такими как есть, без предубеждений — так вкратце можно сформулировать главный вывод, к которому пришли участники недавно прошедшей в Москве польско-русской конференции.

Профессор Анджей де Лазари процитировал мысль А.П.Чехова: “Пусть я этого не понимаю, но тот факт, что я чего-то не понимаю, вовсе не означает, что я это отвергаю”. Возможно, кто-нибудь возразит, что подобная программа для польско-русских отношений — это чистой воды минимализм, но это, к сожалению, неверно. Сегодня это почти максимум того, чего можно достичь после столетий существования общепринятых сформировавшихся стереотипов, мифов и предубеждений, всплывающих на поверхность в зависимости от конъюнктуры и политической ситуации.

Именно с этим мы сталкивались в последние годы — как с польской стороны, болезненно реагирующей на подлинные и кажущиеся угрозы со стороны Москвы, так и в России, где все чаще (главным образом в политических целях) вытаскивают на свет образ поляка — извечного врага всего русского.

* * *

Польские представления о России и русских формируются прежде всего под влиянием истории, особенно новейшей. Как вытекает из социологических опросов, проводившихся Центром исследования общественного мнения и Лабораторией социологических исследований в Сопоте, у каждого восьмого поляка Россия ассоциируется с коммунизмом, СССР и тоталитаризмом. Две трети опрошенных считают также, что в истории наших взаимоотношений было гораздо больше негативных моментов, нежели позитивных, а больше половины респондентов уверены, что России следует ощущать свою вину перед Польшей за историческое прошлое.

По мнению Анны Желязо из Университета им. Николая Коперника в Торуни, весьма важен тот факт, что поляки явно проводят различие между оценкой России как государства и своим мнением о русских. Их восприятие России, как утверждает А.Желязо, складывается главным образом под влиянием злободневных политических событий, а также экономических факторов. Восприятие же русских, гораздо менее подверженное актуальной конъюнктуре, характеризуется постепенным, но вполне отчетливым ростом симпатии к ним. В начале 90 х о своей симпатии к русским заявляли лишь 17% опрашиваемых поляков, а сегодня — 25%. И хотя русских в рейтинге симпатий нашего населения по-прежнему опережают американцы, французы, итальянцы и даже немцы, тем не менее перемена тенденции весьма знаменательна. Полякам нравятся в русских их дружелюбное отношение к другим людям, их гостеприимство и сердечность, а не нравятся лень, склонность к пьянству, невоспитанность, чрезмерная покорность по отношению к властям и имперские устремления.

Несколько иначе обстоит дело с политиками. В польских спорах о России, говорит Эрнест Выцишкевич из Польского института международных проблем, наш восточный сосед чаще всего фигурирует как трагическая альтернатива Западу. Если, как утверждают политики либерального толка, мы отвергнем развитой и прогрессивный Запад, то неминуемо окажемся на отсталом Востоке, то есть в сфере влияния России. Именно этим жупелом обычно пугают противников вступления Польши в ЕС. Среди польских политиков доминирует и уверенность в живучести российского империализма и экспансионизма, которые преподносятся как неизменные элементы политики Москвы и великодержавного самосознания русских, якобы всегда рассматривавших Польшу как свою сферу влияния.

В результате такого подхода, по мнению Выцишкевича, политика России и состояние польско-российских отношений оцениваются эмоционально. Тесные контакты польских политиков с Россией считаются, особенно среди оппозиционных политиков, чуть ли не предательством национальных интересов. Это, в свою очередь, становится препятствием для тех, кто считает, что с Россией можно развивать экономические отношения. Однако достаточно было объявить о предстоящем визите в Польшу президента В.В.Путина, чтобы начали раздаваться восторженные высказывания о переломе в отношениях между Москвой и Варшавой, хотя в действительности речь шла лишь об их нормализации после нескольких лет более или менее скрываемой неприязни.

* * *

А как воспринимают нас русские? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Все социологические опросы, по словам Александра Липатова, проводились в связи с очередными поездками российских руководителей в Польшу, и трудно отделаться от ощущения, что они делались “на заказ”. С одной стороны, люди в общих выражениях говорят о “духовном сближении Польши с Россией” (особенно в контексте борьбы против терроризма), но из их ответов на конкретные вопросы вытекает нечто совершенно иное. Например, большинство участвовавших в опросе считает, что главное препятствие на пути развития польско-российских отношений — наше членство в НАТО.

В то же время 42% опрошенных полагают, что в польско-российской истории было больше позитивных моментов, нежели негативных. Однако и это мнение ни о чем не свидетельствует, так как многие факты из истории Польши, весьма важные с точки зрения оценки наших взаимоотношений, в России попросту остаются неизвестными. В советских учебниках истории, подчеркивает проф. Липатов, не было ни слова о кровавой резне населения Праги (района Варшавы, расположенного на восточном берегу Вислы), учиненной войсками Суворова, о политике царизма на польских землях, о сталинских репрессиях и уничтожении компартии Польши (КПП), об Армии Крайовой, о Катыни и Варшавском восстании. Так чему же удивляться, когда на вопрос, должна ли Россия чувствовать какую-то вину по отношению к Польше и полякам, 64% опрошенных русских отвечают отрицательно. Говоря иначе: мы ожидаем от русских каких-то жестов, а они просто не знают, о чем идет речь... В результате по обе стороны накапливается лишь непонимание и раздражение.

Однако нас могут порадовать другие цифры. Из опросов следует, что 35% участвовавших в них россиян относятся к Польше с симпатией, 24% — с уважением, а 13% — с интересом. Только 2% видят в нас врагов, а для 9% мы просто безразличны. Это можно объяснить притягательной силой польской культуры и польского национального характера. “Русских, — утверждает А.В.Липатов, — всегда привлекало в поляках то, чего не хватало им самим”.

* * *

Совершенно иначе оценивает поляков российский политический класс, среди представителей которого, по данным Выцишкевича, преобладает безразличие или враждебность. Польша, подчеркивают российские политики, поворачивается к нам спиной, забывает об общих корнях и даже пытается интриговать против России. По их мнению, прозападная ориентация Польши представляет собой не естественное чаяние, но желание заменить одного спонсора и покровителя на другого, враждебного России. Посткоммунисты упрекают нас в неблагодарности за освобождение от гитлеровской оккупации и систематическое субсидирование ПНР. Националисты же нередко повторяют, что Польша — извечный враг России, подтверждением чему служит ее политика по отношению к Украине и поддержка, оказываемая чеченцам.

На страницах “Независимой газеты” стоящий в стороне от литературного “истеблишмента” писатель и философ Дмитрий Галковский пишет: “В 1922 году Феликс Эдмундович Дзержинский сказал: “Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей”. Сейчас историю хотят восстановить — поставить на Лубянке снесенный памятник Дзержинскому. Что же, дело хорошее. В связи с этим предлагаю некоторое развитие первоначального проекта. Давайте в шапке-невидимке и восстановим”. Другой пример, на этот раз из “Известий”. Один из авторов начинает свой текст (тема здесь несущественна) с саркастического утверждения,

что поляки никогда не умели как следует воевать, зато сумели создать свой образ — образ доблестных солдат, выигравших II Мировую войну... Подобным же образом обстоит дело и на телевидении — например, на канале “Московия”, который финансирует “православный олигарх” Сергей Пугачев, обладающий немалым влиянием в Кремле. Нашумевший инцидент, когда квартира, принадлежавшая российским членам ордена францисканцев, была сдана некой женщине, которая устроила там публичный дом, был представлен таким образом, как будто владельцами этого борделя были сами монахи-францисканцы, которые еще извлекали из него финансовую выгоду. При этом авторы передачи вполне сознательно (и цинично) обращались к стереотипу поляка-католика, якобы извечно враждебного России.

Впрочем, что тут говорить о журналистах и публицистах, когда за пределы дипломатических приличий выходят иногда и политики. “Пусть поляки не пробуют поворачиваться к России спиной, а то она им может крепко врезать”, — предостерегал не так давно Дмитрий Рогозин, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, еще до того, как был назначен спецпредставителем президента РФ по проблемам Калининградской области.

* * *

Несмотря на все бремя исторических событий и различия в культурах двух стран, диалог между ними, по мнению профессора Анджея де Лазари, вполне возможен. Польский мужик договорится с русским, общий язык найдут и всяческие жулики и мошенники из обеих стран, а также “новый русский” с краковским бизнесменом, не говоря уже о профессорах. Однако даже де Лазари был вынужден признать правоту русского писателя Виктора Ерофеева, автора книги “Энциклопедия русской души”, который утверждает, что нас разделяет прежде всего различие понятийных систем. Поляк, как писал Вик. Ерофеев в 1995 г., ведет диалог на уровне картезианских логических категорий, с ясным пониманием своих интересов. Русский же, наоборот, делает упор на стихийность, на общую жизненную силу, сглаживающую и интегрирующую все противоречия. При таком подходе, по словам Ерофеева, понятие интересов сторон вообще не существует и подчинено неким иным соображениям, с трудом поддающимся строгому определению.

Следствия различий на уровне ментальности, различий мировосприятия, заходят очень далеко. Польская точка зрения, по мнению русского писателя, русскому человеку кажется неприемлемо узкой и отвратительно прагматической. И, наоборот, поляка решительно отталкивает в русском подходе к жизни отсутствие строгости, определенности, его “расплывчатость” и в то же время подозрительная “глобальность”. Так сталкиваются между собой две культуры, две цивилизации, тем более чуждые друг другу, что они вынуждены существовать по соседству.

Именно здесь, вероятно, и следует искать корни польско-русского “непонимания”, вытекающего (в значительном упрощении) из различий между традициями латинского и византийского миров. На московской конференции об этом говорила Людмила Сараскина в своем докладе о “гордой полячке”, то есть Марине Мнишек, жене двух российских царей-самозванцев. По мнению Сараскиной, в эту-то далекую эпоху Смутного времени впервые так резко проявились различия в ментальности русских и поляков. Мы говорим на похожих языках, убеждала аудиторию Сараскина, иногда используем одни и те же слова, понятия и категории, но приписываем им совершенно различные значения. Даже слово “гонор”, в польском языке означающее просто “честь, достоинство”, в русском языке приобрело неодобрительный оттенок.

Таким образом, мы оцениваем Россию, применяя собственные критерии, которые в русской политической традиции могут означать нечто совершенно иное. На это обращал внимание слушателей профессор де Лазари. “Категория “демократии”, — пишет он, — в нашей культуре тесно связана с понятием “политической свободы” и либерализмом. Мы считаем демократию положительной ценностью. В России дело обстоит иначе. Там “демократия” противопоставляется “аристократии”, и вполне законным является термин “революционные демократы”, относящийся к XIX веку. Мы же просто перенимаем это бессмысленное в нашей культуре понятие, превращая его в кальку, и говорим о нем со всей серьезностью, забывая, что в нашем миропонимании “демократия” и “революционность” несовместимы”.

Отсюда берутся десятки недоразумений, а они в свою очередь порождают новые стереотипы — причем с обеих сторон. Мы удивляемся, что российская Дума лишь весьма отдаленно напоминает парламент, и не в состоянии принять придуманную в Кремле модель “управляемой демократии”, тогда как у большинства русских, за исключением небольшой группки “зараженных Западом”, это не вызывает ни малейшего сопротивления. Для нас неприемлемым представляется чисто русское “долготерпение” — то есть терпение, с которым они готовы сносить всяческие унижения и террор властей. Для них это — экзистенциальное состояние, природа вещей, с которой следует смириться. И если уж в России дело все-таки доходило до бунта, до революции, то чаще всего это был дикий, необузданный бунт, на пограничье анархии и террора...

Поэтому мы говорим о России “варварская Азия”, а русские упрекают нас, что мы задираем нос и смотрим на них свысока. “Вот такие мы, и никогда вы нас не поймете”, — повторяют они и прячутся за свою концепцию “русской души”. Той самой “души”, которая должна выражать веру в великое, мессианское предназначение России и одновременно служить лекарством против комплексов по отношению к Западу и осознания своей цивилизационной отсталости. В результате “национальные различия” становятся чуть ли не знаменем и питательной средой для очередного поколения “настоящих патриотов”, порождая, как замечает проф. де Лазари, предубеждение против всех “чужаков”, то есть самую обычную ксенофобию.

* * *

Поляки — “чужаки” вдвойне. Во-первых, хоть они выросли из общего славянского корня, но принадлежат к “латинскому” миру (и многие русские в частных беседах не могут понять, что для нас культурно-цивилизационный фактор важнее историко-этнического). Во-вторых, нас разделяет история — та самая, недавняя, соседская.

На московской конференции об истории говорилось нечасто. Впрочем, быть может, причиной этого послужил тот факт, что еще заранее, в ходе дискуссии по Интернету, был составлен обширный и постоянно обновляемый перечень событий, повлиявших на формирование взаимных предубеждений, начиная с крещения Польши и Руси и похода Болеслава Храброго на Киевскую Русь и кончая визитом Папы Иоанна Павла II на Украину. Попытки прийти на этой почве к какому бы то ни было взаимопониманию заранее обречены на провал — хотя бы потому, что эти события по обеим сторонам служили формированию общенациональных мифов. В России — мифа враждебного поляка-католика, готового в любой ситуации действовать во вред “москалям”, а в Польше — мифа неустанно грозящей нам, варварской и имперской России.

В этом контексте стоит отметить еще одну проблему, на которую обратил внимание Анджей Менцвель в изданном в Москве под редакцией проф. А.В.Липатова сборнике статей “Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание”. По мнению Менцвеля, источники этих мифов и предубеждений следует искать не в тайнах “русской души” или в “польском национальном характере”, но в весьма конкретном, многовековом соперничестве — имперском или колониальном, — разворачивавшемся на тех самых землях, которые не являются ни польскими, ни русскими, то есть на территориях ныне уже независимых государств: Украины, Белоруссии и Литвы.

Однако Польша уже излечилась от этой “колониационной горячки на Востоке” (о чем свидетельствует ее скорое вступление в Евросоюз в одном ряду с Литвой), тогда как русские, несмотря на распад СССР, все еще не могут решить, какую Россию они собираются строить. Они по-прежнему не могут избавиться от мечтаний о воссоздании союза славянских государств — если не с участием Украины, то хотя бы Белоруссии. Разумеется, под эгидой Москвы. И с тем большим раздражением воспринимают они такие действия Польши, которые могли бы укрепить прозападные тенденции на Украине и в Белоруссии. С точки зрения русских, это дальнейшее продолжение векового соперничества, что и порождает необходимость укреплять миф враждебного поляка и раскручивает спираль взаимной неприязни и предубеждений.

Итак, возможен ли диалог между поляками и русскими? Да, но при условии, что мы будем полностью отдавать себе отчет не только в ограничениях, навязанных нам историей, но и учитывать различие наших цивилизационных традиций.

Организаторы конференции: Польский институт международных проблем, отдел культуры и науки польского посольства в Москве, а также Всероссийская библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино.

Главные ведущие конференции: проф. А. де Лазари (русист и историк идей, редактор 4 томного энциклопедического словаря “Идеи в России”) и проф. А.В.Липатов (полонист и большой друг нашей страны).